

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

СУДЬБА РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗМА НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ В ДНЕВНИКЕ РЮРИКА ИВНЕВА 1906–1925 ГОДОВ

Исаев Геннадий Григорьевич, доктор филологических наук, профессор, Астраханский государственный университет, 414056, Россия, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, e-mail: kafruslit@mail.ru.

Анализируется дневник известного русского поэта Рюрика Ивнева 1906–1925 годов в аспекте отражения в нем взаимоотношений автора и исторического процесса в России. Акцент сделан на осмыслении преодоления поэтом трагических противоречий душевной жизни и принятии им новой реальности.

Ключевые слова: Рюрик Ивнев, дневниковый текст, гуманизм, озверение, большевизм, Христос, Ленин

FATE OF RUSSIA AND PROBLEMS OF HUMANISM BEFORE AND DURING THE REVOLUTION IN THE RURIK IVNEV'S DIARY OF 1906–1925

Isaev Gennady G., Doctor of Philological Sciences, Professor, Astrakhan State University, 414056, Russia, Astrakhan, 20a Tatishchev st., e-mail: kafruslit@mail.ru.

The diary by a famous Russian poet Rurik Ivnev of 1906–1925 in the sense of reflecting relations between the author and historical process in Russia is under analysis. The emphasis is on comprehension of overcoming contradictions between internal life of the poet and accepting by him a new reality.

Keywords: Rurik Ivnev, text of the diary, humanism, brutality, bolshevism, Christ, Lenin

Дневник Рюрика Ивнева как произведение автодокументальной литературы обладает всеми основными признаками дневникового текста – «синхронность, т.е. одновременность восприятия события и его фиксации; автокоммуникативность (тождество автора и адресата); "первообразность", т.е. литературная необработанность записей, датировка» [2]. Авторская установка в дневнике 1906–1925 гг. Рюрика Ивнева отличается напряженной интимностью, откровенностью до бесстыдства субъекта повествования. Темы и мотивы дневника концентрируются вокруг гипертрофированно экранированного в тексте авторского «я», становящегося центром мировоззрения Рюрика Ивнева. Дневник поэта предназначен в первую очередь для душевных «излияний», автор полагал, что его личность представляет большой интерес для будущих поколений. Вместе с тем Рюрик Ивнев касается злободневных для России социально-политических вопросов, проблем духовно-нравственных, культурно-этических. Он пытается выявить причины, приведшие Россию к «падению в бездну», постичь некую закономерность в случившемся, объективно оценить сложившуюся ситуацию, спрогнозировать ее дальнейшее развитие, наконец, предложить свои «рецепты» спасения России. Исследование дневника Рюрика Ивнева за 1906–1925 гг. позволит составить адекватное представление о характере эпохи, постичь мироощущение носителей сознания определенного культурно-исторического социума, выявить художественную ценность и специфические особенности дневника как документа своего времени.

В дневнике Рюрика Ивнева условно можно выделить три проблемно-тематических центра, к которым тяготеют другие мотивы. Во многих записях он полностью сосредоточен на «розановских вопросах» – личность автора как героя дневника и поиски Бога, половая любовь и ее различные проявления, судьба России и гуманизма в эпоху революции 1917 г. В статье рассматривается в основном третий из перечисленных вопросов.

«Господи, спаси Россию». Впервые тема судьбы России возникает в дневнике Рюрика Ивнева в 1916 г. 23 сентября во время войны: «Никогда так не понимаешь Россию, как сидя у самовара. Неужели все кончено? Россия развалится. Все самовары развалятся, и будет что-то чужое и серое?.. Верю, верю, верю в Россию. Господи, верю в Россию» [1, с. 174]. 16 ноября 1916 г. пишет о своей любви к России уже не так уверенно: «Не знаю, люблю я Россию и чего ей хочу. Или я весь прогнил и жалкой и ничтожной душой думаю только о своем благополучии».

И Россия – это только поля, подернутые синим туманом, леса, болота, то, что я вижу из окна вагона. И не больше» [1, с. 191].

Он мечтает о коренных переменах в России: «Очищающей бури! Очищающей бури!» [1, с. 191]. Но события в стране вызывают у него ужас: «Что делается! Что делается! Боже мой, что будет с Россией?» [1, с. 192]. Он понимает, что выражает ощущения лишь интеллигенции: «Но ведь есть, есть где-то люди, которым нет дела до нас. И эти люди – крестьяне. Чужие друг другу» [1, с. 191]. Вариант выхода из кризиса для себя он видит в приобщении к крестьянскому миру: «Теперь для меня стало ясно, что единственное спасение мое – пойти пешком по России и утешать несчастных и обиженных» [1, с. 196].

Во время революции он становится свидетелем различного рода эксцессов, которые заставляют его почти с отчаянием вопрошать: «Что будет? Что будет дальше?». Надежда только на милость Бога: «Господи, Господи, спаси Россию, сделай так, чтобы молодая Россия вышла в светлое море без крови и без ужасов».

В сумерках тускло горят фонари, толпы народа всюду. И кто мог подумывать, и кто мог подумывать?

Господи, спаси Россию» [1, с. 208–209].

Свое состояние перед лицом событий он определяет следующим образом: «Я все думаю, что это сон» [1, с. 209]. Мотив восприятия революционной современности как дурного сна повторится на страницах дневника несколько раз. В дневнике 12 сентября 1917 г. появляется запись: «Если все – сон и бессмысленная случайность – то как же Россия?» [1, с. 249]. Почти каждая дневниковая запись в марте 1917 г. заканчивается обращением к Богу: «Боже, Боже, помоги России» [1, с. 211].

Тем не менее, он с энтузиазмом встречает весть о падении царской династии: «Всей душой рад революции. Рад свержению Романовых. Они, конечно, к гибели вели Россию» [1, с. 211]. «Хожу по петербургским улицам и думаю, где она, империя? Петропавловская крепость, Троицкий мост, набережная, Летний сад – все это так пропитано империализмом. И вдруг – "Временное правительство", "Учредительное собрание", "республика". Не верится, не верится ни глазам, ни ушам» [1, с. 212].

Рюрика Ивнева не покидает мысль о сложности и противоречивости человека. Его выводы во время революции самые радикальные: «Нет ничего ниже человеческой породы. Это самая мерзкая и самая ужасная живая тварь, населяющая землю, потому что зверь в человеке, соединены сознательность, которой лишены животные, с мерзостью, обезьяньей пакостностью. Вот уж "пакостные обезьянки" (лучшего названия и не придумаешь для людей) эти люди» [1, с. 314–315]. Сомнения в человеке и его возможностях звучит постоянно: «Господи, Господи. Никуда мы не годимся, мы изжили себя» [1, с. 237]. Его терзают сомнения в результатах революции: «О, как я боюсь, что демо-

кратические волны, ударившись о берег, смешаются с грязью, с камышом и вместо круглой, глубокой, полной волны будет грязная лужица» [1, с. 233]. «Люди большею частью вызывают во мне такое же неприятное (физическое) ощущение, как (гады) насекомые, крысы» [1, с. 235].

В эти дни происходит самоопределение поэта, он с народом: «Я мучаюсь, когда читаю про "анархию", про бесчинства солдат, но вот я попал в вагон, в котором воркует о платьях "настоящая буржуазия" (жирная, сдобная, мягкотелая), и вдруг в одну секунду понял, что всей душой я с этими бесчинствующими ордами, с грубыми солдатами (осуждаю их, но понимаю, т.е. могу *понять*), но только не с этими толстыми "людьми", только не с ними (и "осудить" их не могу, но и *понять* тоже не могу)» [1, с. 220]. В отчаянии он вспоминает Христа: «Господь! Господь! Не величественный, восхваляемый и воспеваемый (по заслугам, по заслугам, но все же славимый, следовательно – торжествующий, не всемогущий Дух, а бедный, несчастный Иисус с человеческим сердцем, с человеческими чувствами и человеческой болью, если бы Ты знал, (как могут низко опускаться сердца Тобой *любимых* людей), если бы Ты знал, куда идут когда-то любимые Тобой люди...»

Господи! Господи! Ужели напрасно пролилась Твоя кровь!» [1, с. 232–233].

Рюрик Ивнев в это время ощущает жизнь как смену эпох: «Боже! Боже! До чего мы несчастны и ничтожны. О, несомненно, несомненно; что мы на грани двух эпох. Одна кончается (мне страшно назвать ее)), другая еще не началась, и невысказанно определить, как и когда (т.е. как скоро она начнется)» [1, с. 237]. «Боже! Какая громадная и страшная пропасть между прошлым и настоящим» [1, с. 256].

О гуманизме. «Все смотрю на "публику" (в трамваях, на людных улицах). Если это Россия, то пусть она *гибнет*. Такой никому не надо» [1, с. 239]. «Я подавлен событиями: режут, убивают, жгут...» [1, с. 240]. После известия о том, как солдаты в Выборге убивали офицеров, сбрасывали с моста в воду и там добивали, решает бросить все и уйти в монастырь. Возникают мысли о кризисе гуманизма: «Для меня *он* (мой сосед) – клочок сукна, шерсти, кожи, мяса, для *него* я – клочок сукна, шерсти, кожи, мяса. И где любовь к ближнему?» [1, с. 244]. Он погружается в свое «я» и обнаруживает там зверское, садомазохистское начало: «Прочел о расправе матросов с офицерами на броненосце "Петропавловск" в Гельсингфорсе. Мичмана Кандыбу связали по рукам и ногам, и, связанного, матрос ударил штыком в лицо.

Читая это, я вдруг почувствовал, как "просыпается во мне зверь". Вдруг сквозь ужас, сквозь горе, сквозь страшную боль за людей – я почувствовал в своем собственном сердце нечто подобное сладострастному любопытству. Я не мог *скрыть от себя*, что мне хотелось бы присутствовать при этой расправе. Эти веревки, связанные руки, ноги и штык в лицо точно ослепили меня, одурманили. Тяжелая и грешная душа! И все же какая-то надежда (бьется, бьется в груди), что Господь меня не покинет.

Господи, прости, прости, прости меня» [1, с. 246–247].

Смотря на зверское (злое, красивое) лицо солдата (должно быть, «автомобилиста», фуражка на нем с огромным «защитным» козырьком): «Такому и "защиты" не надо. Все-таки как все приятно (голова кружится) смотреть на "лик зверя" (заглядывать в прорубь).

P.S. Точно огнем прожег этот "лик" меня. Боже! Боже!» [1, с. 260].

«И где "любовь с ближним", когда в толпе (когда тебя тесно сожмут) другие люди превращаются в куски ваты, которые можно кромсать, давить, не чувствуя не только жалости, но даже простого "интереса", не чувствуя в этих "кусках ваты" живого тела и духа живого!» [1, с. 260]. Любовь к ближним под вопросом: «С закрытыми глазами люблю. Открою глаза (посмотрю на ближнего) – и где любовь?» [1, с. 274–275].

Ни знания, ни ум, ни талант не могут спасти человека, Человека может спасти только любовь – живая человеческая любовь. «...И об этой любви. Об озарении души моей этой любовью я молю Тебя, господи!» [1, с. 259].

Создается обобщающий образ России: «Смотря на ноги распятого Христа, подумал: вот так распята сейчас Россия.

Господи! Господи! Спаси и сохрани Россию!» [1, с. 249].

Доминантой его сознания остается патриотизм: «Несмотря на весь ужас, который царствует вокруг, несмотря на унижение русской нации и боль России, как я счастлив, что я – русский и православный» [1, с. 249]. 8 октября 1917 г.: «Хожу, разговариваю, но все кажется сном. Не верится, в гибель России, а ведь она уже погибла. Никогда я не чувствовал так реально существование России и никогда так не любил ее. Точно толпы озверевших солдат, глупые и пошлые люди и т.п. – это одно, а Россия – совсем другое, не имеющее вовсе касательства до них...» [1, с. 258].

Самоанализ обнаруживает в его душе весьма неприглядные вещи: «Как я презираю себя и как ненавижу себя! Сколько грязи в моей душе» [1, с. 261]. «...Все ложь и обман, и кроме своей шкуры я ни о чем не думаю: и все люди мне, как мошки, безразличны до отупения» [1, с. 261]. Пересказывает заметку из «Вечерних биржевых вестей» о том, как двадцать хулиганов напали на милиционера и, связав его, заставили *лаять по-собачьи*. Когда он отказывался, его избивали. *Это продолжалось 4 часа*. Потом его развязали и, уходя, каждый ударял его по лицу».

Примечательна реакция автора дневника: «Я чувствую до сих пор, когда *думаю об этом*, волнение (и половое!). И...я боюсь сознаться самому себе... мне жаль, что я не присутствовал при этом *издевательстве* над человеком. Может быть, это *присутствие* меня излечило бы навсегда от подобных "мечтаний", – но пока я потрясен, взволнован и... жалею, что сам не плевал и не бил по лицу...» [1, с. 262].

Сообщает о замысле романа: «Как в Приключении Гулливера, осмеяны предрассудки человека, так изобразить все предрассудки народов, весь ужас "реальной жизни", с которой мы все "свыклись"» [1, с. 261].

Большевизм как новое самодержавие. После прихода к власти большевиков характер записей не меняется. 5 октября 1917 г.: «На улице опять матросы, солдаты... Опять разводят мосты и снова их наводят "Вторая революция" – и в роли свергаемого – Временное Правительство» [1, с. 265]. «Положение невероятное, просто фантастическое. Мне кажется, что все это – сплошной сон, что вот сейчас проснусь и увижу солнце, желтые занавески, самовар, людей, обыкновенных, пухлых или тощих, больных или здоровых, а не каких-то бредовых "большевиков", "меньшевиков", "корниловцев", "революционеров", "контрреволюционеров"...» [1, с. 266].

11 ноября записывает: «Политических убеждений» у меня нет. Даже больше: морального устоя нет, т.е. внешнего морального устоя, что касается внутреннего, – то он есть у каждого, даже до низин опустившегося человека. Как это ни горько звучит, но "сознание своей низости", пожалуй, и есть тот внутренний моральный устой (жалкое утешение! Жалкий, жалкий устой!)» [1, с. 277].

Пишет о своем неприязненном отношении к большевикам (запись 15 декабря 1917 г.): «Почему у эсеров такие благородные лица. В сплошной эсеровской аудитории я бы решился крикнуть что-нибудь им неприятное без размышления, в большевистской аудитории нельзя пикнуть – растерзают на части. Почему среди большевиков так много подонков, так много самой ужасной, самой омерзительной и злобной черни? Почему около цирка "Модерн" я чувствую себя оплеванным и загрязненным, почему я не вижу там – человеческого чувства?»

"Большевизм" – это самодержавие наизнанку, это хуже самодержавия. Царское самодержавие – это была держава белой кости, а большевизм – это держава хама, ничего общего не имеющего ни с обездоленными ни с угнетенными. Ужасный жандармский дух, "удушье". Когда думаешь о низости и зверстве этой черни, то страшно становится за *человека*» [1, с. 293–294]. «У большевиков нет средних людей. Там или ангелы или бесы. И потому они так несчастны и беспомощны, несмотря на свою "силу", "мощь", "грозные жесты" и "террор"» [1, с. 301].

Сомнение в планах большевиков присутствует постоянно на страницах дневника. «Не есть ли идея *Интернационала* – вторичная попытка построить *Вавилонскую башню?*» [1, с. 282]. 29 ноября 1917 г.: «Опять насилие над волей! Значит, без *насилия* нельзя. Вся жизнь – одно насилие. Смерть – освобождение (истинная *свобода!*)» [1, с. 286]. 8 марта 1918 г.: «Невозможно, невозможно, невысказано "полное человеческое счастье", невозможно равенство, братство, невозможна и невысказана всеобщая любовь к ближним (не в виде исключения, а полная всех ко всем). Все – бред и большие фантазии. Нет на земле существа зловреднее человека. Зловреднее и несчастнее в одно и то же время» [1, с. 331].

Он обнаруживает, что сам несколько не лучше окружающих: «29 декабря утром (только что встал), просматривая новогоднюю статью и "думая о другом". Как глубоко во мне сидят порочные, развратные склонности» [1, с. 304]. О себе: «Я весь погрязая в мерзости – грязной, продажной, отвратительной. Я прямо задыхаюсь от своей низости. Мне прямо душно от нее, *физически душно*» [1, с. 280].

Вновь возникает символический образ России: «...Россия – она ведь как женщина, застрявшая в колесах «мчащегося к социализму» поезда» [1, с. 296].

22 декабря после чтения книги В. Розанова «Апокалипсическая секта» пытается по-своему интерпретировать образ Христа (в свете идей скопчества)» [1, с. 299]. Под воздействием В. Розанова рождается замысел романа «Большая печать» (из жизни скопцов) [1, с. 297].

31 декабря 1917 г. сообщает о своей мимикрии: «С возмущением заговорили о возникающих в рабочей среде "общества огарочников". Все охали, и я тоже вслух охал, – а в тайнике души хотел быть с ними и с ними развратничать. О, мерзость, о, низость душевная!» [1, с. 304].

Озверение. Постоянно пишет об озверение людей: «Господи! До каких пор будут происходить эти ужасы? Все так озверели, настолько потеряли образ человеческий, что становится прямо жутко. Конечно, все началось с мировой бойни. Это она положила полному озверению человека, но теперь, нужно признаться, я потерял способность различать виновных от невинных. Все хороши.

Обидно до глубины души, что революционная власть идет древнеазиатским стопам; самодержавные приемы – кажутся розовой водицей по сравнению с этими ужасами! Боже! Боже! Как тяжело! Прямо невыносимо дышать, думать. Все сильнее и сильнее я чувствую, что один путь может спасти обезумевшее человечество. Этот путь – Христос» [1, с. 345]. Рождаются мысли о праве на убийство: «Если действительно искренне и твердо (и главное, окончательно) придешь к выводу, что "убивать иногда полезно", то нужно поставить крест над тем, что мы называем "душой", и слиться с "животным миром" совсем, совсем без нелепых искалеченных прыжков "куда-то вверх", к каким-то "синим небесам". Человека "легко" убить, но еще легче убить человеческую душу. И ее убивают каждый прожитый день, каждый человеческий жест, каждый взмах человеческой мысли» [1, с. 347].

21 сентября 1918 г.: «Думаю о России, думаю о России, все время и по всякому поводу. Боже, Боже, что будет с ней?

Слишком много злобы и грязи на дне несчастной, вывихнутой русской души» [1, с. 351].

Самокритично пишет о себе: «Все время неотступно думаю о позоре, о игре своей жизни. Ни капли любви к людям, такая черствость, от которой кружится голова» [1, с. 353].

25 октября 1917 г. фиксирует происходящее в столице: «Стрельба ужасная, пулеметная и орудийная... Говорят, стреляли в Зимний Дворец. На меня напало какое-то одеревенение... никого не жалею, ничего не жалко. Но ведь это не может быть! Это временно! Не могло же мое сердце омертветь! Боже! Боже! Спаси Россию» [1, с. 266].

Стыд за человека. 26 октября 1917 г.: «Злоба, апатия, нравственная приглушенность, "точно весь в кокаине", ничего не чувствую, ничего не желаю – вот мое душевное состояние. И это в *такую* минуту. Как стыдно! Боже мой! Как мне стыдно!» [1, с. 266]. «Так пусто и глухо на душе! Господи! Только на Тебя вся надежда! Спаси, спаси и сохрани измученную, истерзанную, затравленную и (поруганную) растерявшуюся Россию» [1, с. 267].

Возникают рассуждения о насилии, о праве на пролитие человеческой крови: «Неужели кровь может быть *маслом*, необходимым для исправной работы "государственной" (общественной) *машины*? Если *это так*, то тогда наше "общежитие" – дьявольское наваждение. Есть только два пути. Или: полное непротивление злу (прямолинейное, единственное, без всяких оговорок и исключений). Или: зло за зло (хотя во имя *правды*) механическое вычисление "наибольшей пользы", "расчеты", "дела", убийство одного во имя блага девяти или семнадцати, и споры о том, какая *цифра* смертей (нужен 0) *необходима* для блага стольких-то (и опять цифра). Можно ли убить одного для *пользы трех*? Или «три» мало; надо – «семь»?»

Третьего пути нет. И душа – в злобе и ненависти против нарушителей "добра", против всех "зловоленных групп".

И сколько низости и ужаса в душе *человека*. Зверь, зверь, звереныш, зверик, челозверик, челзверик, челозверь... А небо? Небо? И пространства, в которых "купаются" душа? И рядом...то, к чему *тянет*... Грязь, грязь, грязь! Грязевек, грязозверь, грязезверь, грязечеловек, челозвегрязь» [1, с. 268].

«У меня стало тяжело на душе. (Какой-то *стыд* за человека и жалость» [1, с. 268].

«Жертвы, кровь». «Ужас! Ужас! Есть *черта*, за которой человек – уже не человек, и тогда...тогда... Но где же христианство! Где эта любовь к врагу? Если врагом может быть только *человек*, а когда *человек* перестает быть *человеком*, то... (ужасный вывод!) Нет! Нет! Не так, не так. Что-то темное, непонятное, закрывающее *разум*. И какие же мы маленькие и жалкие, какая горсточка ничтожная – весь мир, и шумит, волнуется. Боже! Боже!

P.S. Я не говорил с ними. Может быть, все *переменилось бы*, если бы я *заговорил* с ними» [1, с. 269].

30 октября 1917 г.: «Положение в городе очень неопределенное. Уже "Керенского с войсками" никто не ждет... Вчера было ужасное кровопролитие. Осаждали юнкерские училища («Красная Гвардия» и солдаты) и избивали юнкеров. Рассказывают что-то ужасное. Кровь стынет в жилах. Боже! Боже! Смиловитесь над нами, грешными, несчастными, забывшими Тебя!» [1, с. 269].

1 ноября 1917 г.: «В Москве, по слухам, творится что-то ужасное. Междоусобная война...масса жертв.

Господи! Господи! Спаси Россию, избавь ее от ужасов и горя!

Господи! Спаси и сохрани Россию!» [1, с. 270].

1 ноября 1917 г.: «Жертвы, жертвы, кровь... Боже мой! Боже мой! Помилуй нас, грешных, избавь нас от горя и ужаса!» [1, с. 271].

Грубая сила Смольного. 3 ноября 1917 г. посещает штаб большевиков в Смольном: «Смольный институт. Коридоры. Все-таки как мало я понимаю

(т.е. совсем не понимаю) "реальную" жизнь: эти лица с резкими чертами, твердые голоса, сапоги, ружья... Ведь если бы я кому-нибудь "из них" сказал хоть 1/100 долю того, что я думаю, т.е. о чем я думаю, о чем волнуюсь, – надо мной бы вдоволь "поиздевались", даже не "поиздевались", а просто бы посмотрели бы "дикими глазами" и отошли бы...

Я никогда не испытывал такого ощущения (совершенно нового для меня): будто я не "человек", а тень. Вам все эти несущиеся по коридорам (люди) фигуры с ружьями, с "отношениями" и "приказами", – люди, "человеки" живые, с телом, со всем "как следует", а я тень, – и мне между ними нечего делать. Я могу даже пройти "сквозь них", и они могут "сквозь меня" пройти, и "не заметят" меня и не могут "заметить"» [1, с. 271].

3 ноября 1917 г. передает свои впечатления от штаба большевиков: «Смольный Институт. Днем. В воздухе этого помещения чувствуется какая-то грубая сила. Такой же воздух был в "участке", в "жандармских" комнатах на вокзалах и т.п.» [1, с. 271].

3 ноября 1917 г.: «Лахтинская, около Приютской церкви. Старушка, очень бедная, кривенькая, сгорбленная, сказала мальчику лет 14-ти (должно быть, сыну):

– ...Мне деньги достаются очень горько.

Я оглянулся. Мне стало так больно, физически, до головокруженья. И я подумал: если все теперешнее революционное движение (большевистской) действительно сможет приблизить нас к тому дню, когда такая старушка с такой мучительной фразой ("Мне деньги достаются очень горько") не будет возможна, то тогда я "приемлю" все – и ужас гражданской войны, и кровь, и даже "невинные жертвы", и даже разрушение Кремля и Василия Блаженного...

Если...если...если...если действительно эта вторая (октябрьская) революция приблизит нас к этому дню. Но нет у меня в этом уверенности, и мучительно пусто на душе» [1, с. 271–272].

6 ноября 1917 г.: «Есть только один путь правды – это молитва за врага» [1, с. 273].

29 ноября 1917 г.: «Видел сон. Демонстрация священников разных религий. "У всех было что-нибудь в руке: или лампа, или этажерка, или таз, или еще что-нибудь. Поражала какая-то особенная пестрота одежд и лиц. Встречались какие-то пестрые халаты; солдат было немного. Да, еще одна особенность: толпа была не европейская, а какая-то всемирно-международная и, однако, было ясное ощущение, что это – революция, и именно революция в Германии.

P.S. Но главное, как я уже записал, как только проснулся, это – страшное ощущение душевного опустошения, какого-то всемирного озверения» [1, с. 285].

29 ноября 1917 г.: «Значит, без насилия нельзя. Вся жизнь – одно насилие. Смерть – освобождение (истинная свобода!)» [1, с. 286].

2 декабря 1917 г.: «Несмотря на мои розовые очки, у меня нет доверия к людям. У меня скверная подозрительность» [1, с. 289].

15 декабря 1917 г.: «У входа в цирк "Модерн". Опять слушал разговор о самосудах (над ворами и жуликами). Говорили солдаты. Защищали с ожесточением самосуды. Буквально с "пенной у рта". Боже мой, как страшно, Прямо дышать трудно» [1, с. 293].

15 декабря 1917 г.: «Почему среди "большевиков" так много "подонков", так много самой ужасной, самой омерзительной и злобной черни? Почему около цирка "Модерн" я чувствую себя оплеванным и загрязненным, почему я не вижу там – человеческого чувства?

"Большевизм" – это самодержавие наизнанку, это хуже самодержавия. Царское самодержавие – это была держава "белой кости", а большевизм – это держава "хама", ничего общего не имеющего с "обездоленными", ни с "уг-

нетенными". Ужасный жандармский дух, "удушье". Когда думаешь о низости и зверстве этой черни, то страшно становится за человека» [1, с. 294].

«Что ожидает нас? Антихрист, антихрист. (Как я понимаю самую возможность появления мысли об антихристе в народе.)» [1, с. 295].

17 декабря 1917 г.: «Все "ахают", что разгромлено столько имений и что гибнет столько ценностей искусства (имение Половцева (около Луги), разгром Зимнего Дворца. А мне "ничуть" не жаль этих «сокровищ», т.е. не то что не жаль (это невозможно жалеть), но эту жалость застигает мысль о страдающих нищих, голодных детях, о них ведь никто не "ахал", когда все было "благополучно", когда все было спокойно (когда не было революции).

Вот эта бьющаяся в моей голове мысль не дает мне жалеть о сокровищах искусства! (Т.е., вернее, не дает мне сочувствовать, "поддакивать" извергающим вопли о гибели культуры.) Но, помимо всего, такой культуры мне не жаль» [1, с. 295].

19 декабря 1917 г.: «Но Россия – Россия – она ведь, как женщина, застрявшая в колесах "мчащегося к социализму" поезда» [1, с. 296].

Связь с Россией. 19 декабря 1917 г.: «...Снова чувствую связь (физическую) с Россией. То, что она, Россия, и мои мозги связаны крепкими жилами, и будто каждый день, каждый час кто-то растягивает эти жилы (они рвутся, кровь идет), хватая одной рукой Россию, а другой рукой – мой мозг, то отдаляя их друг от друга, то приближая снова (а жилы рвутся, кровь идет), и смотреть на это страшно, не то что переживать» [1, с. 296].

19 декабря 1917 г. самокритичное признание: «Наше несчастье (и наша погибель) в том, что мы (русские) – несчастны и продажны в самом буквальном, в самом позорном смысле этого слова» [1, с. 296].

24 декабря 1917 г., во время работы над статьей «Интеллигенция и народ»: «Что бы я ни делал, в голове моей бьется мысль: может быть, *все-таки надо*, т.е. ничего не надо *изменять*; может быть, все испытания, выпавшие на долю человечества, необходимы, и грешно им противиться...» [1, с. 302].

31 декабря 1917 г.: «Вечером, у Есениных, за встречей Нового года. Я сказал: "Если бы я мог за кого-нибудь умереть, то я бы умер за Ленина"» [1, с. 304].

1 января 1918 г.: «Нет! Россия не может, не может "погибнуть". Она будет, она будет жива. С нею Бог» [1, с. 306].

Расщепление личности. 9 января 1918 г.: «Во мне не два человека, а несколько. Один страшнее другого, гаже другого, но есть кто-то, кто-то еще ("лишний"), который все видит, все знает и горюет, за все гадости и мерзости этих "нескольких" людей. Боже! Как боязно даже всматриваться в эти страшные лица, хочется невольно обманывать себя "всякими обманами", но с каждым это делается труднее, труднее...

Господи! Как тяжело!» [1, с. 313].

О своем будущем. 9 января 1918 г.: «Я вышел уже из "полосы любви", т.е., по совести говоря, вряд ли смогу полюбить так, как мог бы полюбить несколько лет тому назад. Мне кажется, что весь мой душевный жар теперь "будет идти" уже на другое...на общественное "поле", на "гнев", на "радость". Это все в порядке "закона жизни", Но, Боже мой, как жалко мне той узкой и несчастной моей (прошедшей) полосы любви» [1].

19 января 1918 г.: «Кажется, нет у меня более страстной (и более затаенной) мечты, как мечта о рабстве, о сама бесчеловечном, самом убийственном (быть может, небывалом в мире), жестоком рабстве, мечта о власти (быть "владыкой", "деспотом") над отборной человеческой породой. Тогда только можно было бы жить. Ведь, в сущности, теперешняя жизнь – это "сладкая водица", это тень тени настоящей жизни (древней)» [1, с. 319].

«Кажется, в Германии начинается тоже революция. О, если бы она была удачна. Тогда какой памятник (из чего? Ведь золото будет для него тусклым) поставить надо Ленину» [1, с. 319–320].

24 февраля 1918 г.: «Все думаю о мире (об условиях мира, "предложенных" Германией), и такая боль поднимается в сердце, равной которой нет... Мысль эта неотступно следует за мной... как призрак, как угрызение совести. Боже! Боже! Как тяжело нести этот крест. Боже! Боже! Как искупить нашу вину» [1, с. 325].

Человеческая масса получает на страницах дневника только негативную оценку: «Ведь, в сущности, человеческая масса со всеми своими "построечками и выдумками" – такая сплошная и невыносимая грязь, что, пожалуй, не было бы особенно беды, если бы всю эту земную "накипь" смел бы неумолимый огонь» [1, с. 338].

7 июля 1918 г.: «Он сказал что-то безразличное, но я почувствовал пол его голоса, что передо мной, несомненно, тип "нового человека", рожденного этой неслыханной войной, для которого нет ничего святого. Есть только алчный аппетит к наживе, наживе особенной, злостной, через несчастье и слезы других. Человечество падает, человечество "зверееет" (хотя давно уже пора оставить в покое несчастных зверей и придумать для человеческого вырождения и жестокости какое-нибудь более подходящее определение)» [1, с. 339].

Единственный честный путь для себя. 11 июля 1918 г.: «Я так привык за эти годы войны к слову "убить" и за революцию к слову "расстрелять", что эти слова по мне скользили, как по зеркалу, и *смысл* их не проникал в мою душу» [1, с. 341]. «Я почувствовал, что, в сущности, единственный честный путь – это монастырь, христианство, отречение от земного строительства, от земного переустройства. Ничего хорошего не выйдет из хлеба, в котором больше крови, чем теста. Но, видно, мне далеко до этого прямого и честного пути. Нет сил для этого, и может быть, и не будет их» [1, с. 341].

«Что это – крушение всего, полный конец... или же Божья гроза?»

И это все за наши подлые грехи, и грехи церкви (последние годы Романовых, Распутин)» [1, с. 341].

Обожествление Ленина. 24 ноября 1918 г. – начало обожествления Ленина. «Я долго смотрел на Ленина. Все-таки какое чудесное явление он на нашей прогнившей планете. В нем что-то обаятельное, простое, я бы сказал "святое". Как это ни странно, но почувствовал в нем какой-то бесконечный пласт доброты, несмотря на то, что проповедует железную диктатуру, – и со стороны должен казаться грозным. К такому человеку легко в минуты большого горя кинуться на шею и спрятать голову на его широкой груди» [1, с. 362].

В связи с этим дума о себе: «Я чувствую, что стою перед новой жизнью. И это будет – или полная гибель души (разврат, потеря совести), или – полное возрождение» [1, с. 367].

Христос – единственная надежда. 7 декабря, суббота, вечером, у Страстного монастыря. «Под звон колоколов. Чувствую, как сердце начинает омываться горячей влагой. Все-таки как бы люди ни строили свою жизнь, чем бы они ни восторгались, волшебнее Христа нет никого и самое большое счастье в мире – это быть с Ним» [1, с. 368].

10 декабря 1918 г.: «Я чувствую, что душа моя еще грязна и ничем не отличается от других грязных душ, но в ней теплится надежда, что сближение с Господом ее окончательно освежит, очистит, омоет» [1, с. 369].

15 декабря 1918 г.: «Все-таки, несмотря на все величие совершающихся событий (мировая революция – мировая буря), делается страшно за будущее человечества. Без христианства страшно. А христианство коченеет» [1, с. 369].

9 января 1919 г.: «Я мечусь между Церковью и атеистическим Государством. И по очереди получаю оплеухи то от одной, то от другого» [1, с. 379].

1 мая 1919 г.: «Я почувствовал впервые за все эти годы (годы революции), что одни стены ничего не сделают, что нужно, нужно какое-то примирение между "1 мая" и церковью (не голыми стенами, а душой церкви). Как это сделать, я не знаю. Знаю хорошо и твердо одно: ни церковь без "1 мая", ни "1 мая" без церкви в отдельности не спасут человечества. А ведь все происходящее творится под знаменем "спасения человечества". Под церковью я понимаю не узко догматический институт, а Христа – живого, измученного, с бесконечной любовью ко всему живущему» [1, с. 396–397].

«Пожалуй, весь ужас для меня в том, что я слишком слаб для того, чтобы создать новую религию, а она нужна, как воздух, и мне, измученному, исковерканному и слабому, – и человечеству – не менее измученному и не менее слабому» [1, с. 397].

14 мая 1919 г. с ужасом констатирует: «Все разбито, разрушено» [1, с. 398].

Так было, так будет. 27 мая 1919 г. появляется пессимистическая записка о том, что после революции ничего не изменилось: «Так было, так будет...»

Девочка-нищенка просит подаяние. Все ее гонят. В конце концов, ее уводит милиционер.

Прежде сидели и обедали чиновники, офицеры, буржуа. Теперь – "совбюры"» (советские бюрократы), красноармейцы и "дамы"» [1, с. 399].

29 мая 1919 г.: «Боже мой! Как мне все глубоко омерзительно! Вокруг такая же гадость, как была раньше, пьянство, грубость, пошлость, звериный эгоизм» [1, с. 399].

29 мая 1919 г.: «Если подумать, какой ужас скрыт в милитаризме...» [1, с. 399].

5 июня 1919 г. попытка определиться с характеристикой эпохи: «Жизнь в целом или ужасная, или прекрасна. Середины нет. Или все ужасно: убийство людей людьми, убийство людьми животных, уничтожение одних живых существ другими. Или все прекрасно, потому что все «закономерно» – все эти ежесекундные убийства и взаимоуничтожение» [1, с. 400].

29 ноября 1919 г. критично, в духе партийной публицистики 1920-х гг., оценивает роль творческой интеллигенции во время революции: «Смотря на стенную роспись Судейкина. Думая о Москве, о России, о революции.

Меня томит какое-то чувство стыда за себя и за других. В такой изумительный момент, когда Москва (право, свобода, труд, народ) борется с Парижем, Лондоном, Вашингтоном, вернее, целым миром (эксплуатация, подлое фарисейство, спекуляция, низость), мы ходим как сонные мухи, пьем кофе, расписываем стены и не краснее за себя. Наоборот, находим оправдание: искусство выше политики. Мы – деятели искусства. Наш покой – дороже всего. Подлость! Подлость! Низость! Все мы гады» [1, с. 406–407].

Восторг от съезда Советов и обожествление Ленина. 24 ноября 1918 г. – начало обожествления Ленина. «Я долго смотрел на Ленина. Все-таки какое чудесное явление он на нашей прогнившей планете. В нем что-то обаятельное, простое, я бы сказал «святое». Как это ни странно, но почувствовал в нем какой-то бесконечный пласт доброты, несмотря на то, что проповедует железную диктатуру, – и со стороны должен казаться грозным. К такому человеку легко в минуты большого горя кинуться на шею и спрятать голову на его широкой груди» [1, с. 362].

В связи с этим думает о себе: «Я чувствую, что стою перед новой жизнью. И это будет – или полная гибель души (разврат, потеря совести), или – полное возрождение» [1, с. 367].

25 декабря 1920 г. делает запись: «8-ой съезд советов меня приводит в какой-то блаженный восторг. Какое невероятное счастье – быть свидетелем этих изумительных исторических дней. А Ленин – весь – это музыка. Лучшего о нем и не скажешь. Он звенит, звучит. Да, да про него можно сказать: *музыка будущего*» [1, с. 409].

6 мая 1921 г.: «Часть не может быть больше целого. Коммунизм не может быть окончательным словом мировой истории. Мировая история – целое. Коммунистическое движение – часть, поэтому коммунистическое движение не может быть больше мировой истории, не может ее *поглотить*» [1, с. 412].

Приходит период увлечения и преклонения перед Лениным. 12 апреля 1923 г. делает выписки из апологетической речи Троцкого на VII Всеукраинской 5 апреля 1923 г. партконференции о Ленине: «Ленин – гений, гению рождается раз века...создать гения нельзя...» [1, с. 416]. 25 апреля 1923 г. изложение речи Бухарина на XII съезде РКП, в которой вновь прославляется Ленин [1, с. 417–418].

Мировоззрение и мироощущение Рюрика Ивнева существенным образом меняется. Начинает процесс его превращения в советского писателя, разделяющего все идеалы правящей партии. 25 апреля 1923 г., например, он задумывает книгу с весьма примечательным названием: «Добро и зло при свете коммунистического солнца (книга о морали, этике новых людей нового, будущего общества)» [1, с. 419]. 1 мая 1923 г. сообщает о планах написать роман «Через тысячу лет», в котором намерен изобразить утопическое будущее: «Земля – цветущий сад, во всем мире восторжествовал научный коммунизм. Вся энергия людей, направлявшаяся прежде к убийству и уничтожению, направлена на завоевание природы и победы над временем и пространством» [1, с. 423].

Список литературы

1. Рюрик Ивнев. Дневник. 1906–1980 / Ивнев Рюрик. – М. : Эллис Лак, 2012.
2. Криволапова Е. М. Жанр дневника в наследии писателей круг В.В.Розанова на рубеже XIX–XX веков : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Е. М. Криволапова. – М., 2013.

References

1. Rjurik Ivnev. *Dnevnik. 1906–1980* [Diary. 1906–1980]. Moscow, Jellis Lak publ., 2012.
2. Krivolapova E. M. *Zhanr dnevnika v nasledii pisatelej krug V.V. Rozanova na rubezhe XIX–XX vekov* [The genre of the diary in the heritage of the writers circle V.V. Rozanov at the turn of XIX–XX centuries]. Moscow, 2013.

МОТИВ БЕССОННИЦЫ И АСОМНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ПРОЗЕ Н.М. КАРАМЗИНА

Анищенко Валентина Владимировна, аспирант, Астраханский государственный университет, 414056, Россия, г. Астрахань, ул. Татищева, 20 а; преподаватель, Астраханский социально-педагогический колледж, 414040, Россия, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 48, e-mail: anischenko_v@mail.ru.

В данной статье в прозаических текстах Н.М. Карамзина рассматривается мотив бессонницы, а также связанный с ним особый вид художественного пространства – асомническое, которое предполагает описание художественной реальности произведения в момент отсутствия сна у героя и характер восприятия им этой реальности.

Ключевые слова: сентиментализм, предромантизм, бессонница, асомническое пространство, мотив, символ